

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



НЕЗАБЫТЫЕ ИГРУШКИ

Маленькая повесть
из цикла “Русские мальчики”

1

Скоро, совсем скоро не останется на белом свете людей, которые бы помнили войну, знали горькое время голодух, похоронок, безутешных слёз. А ещё скорее покидают землю те, кто не просто помнил то горестное время, а стрелял во врага, был ранен, например, и всё-таки выжил, поправился, и прожил ещё одну жизнь, мирную — но ведь и у неё, у этой мирной, хотя и неспокойной жизни есть предел.

Что мы будем делать, когда покинет землю последний солдат той великой войны? И как станем жить, когда её покинет последний её малыш, — не солдат, не взрослый, а просто тот, кто видел её, кто запомнил её подробности, её детали, её лица — и это лица не только близких людей.

А малыш, который — хоть самую малость — помнит время перед войной.

У того времени было странное имя: “ДОВОЙНЫ”, и под ним подразумевался какой-то волшебный, ласковый мир нашего детства, много не знавшего, но верящего в свет добра.

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака (Варшава), В. Гюго (Париж), “Сакура” (Токио). В январе 2020 года ему вручена Премия имени Владимира Высоцкого “Своя колея”. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.

И коли речь идёт о тогдашних малышах, то ведь где-то должны же остаться их игрушки довоенной поры? Или они тоже исчезают, как и люди? Раньше людей.

Но какими они были, если были вообще? И можно ли забыть свои игрушки? Особенно если они вместе с твоим собственным детством прошли сквозь целую войну? И целый мир?

Забыть можно многое. А игрушки забыть нельзя. Вырастая, человек может рассмеяться над собой и в слишком уж свой самоуверенный час выбросить их, полагая, что вырос из своих игрушек.

Выбросить-то может, а забыть — никогда.

2

За год до войны моего папу послали на ВСХВ.

Я очень долго приспособлялся к этим четырём буквам, не похожим ни на одно слово, но обозначающим какую-то сказку, как сказал потом папа, целый город из невиданных белых дворцов, называемых павильонами, из великого множества фонтанов, посреди которых стояли покрашенные золотом мужчины и женщины разных народов, а струи воды, вырывааясь у них из-под ног, взлетали высоко в непременно безоблачное небо.

ВСХВ — это Всесоюзная Сельско-Хозяйственная Выставка, и там выставлялось лучшее, что делали эти золотые люди, дружившие между собой.

Папа был городской, а не деревенский, работал на заводе слесарем, а не пахал землю, но его послали на ВСХВ как очень хорошего слесаря на очень хорошем заводе, и он, улыбаясь нам с мамой, его провожавшим, уехал в Москву на поезде, который проходил мимо нашего города.

Он уехал, а я заскучал.

Скучать-то мне, конечно, не полагалось: я ходил по утрам в детский сад “Октябрёнок”, и там доставало разных забот — и рисование, и прогулки, когда надо идти, взяв “за хвост” впереди идущего односадовца — или односадовку, — но это когда прогулка по городу, по деревянным тротуарам, в ближайший городской сад, где нам давали полную волю дуреть на лужайках.

Ещё мы рисовали всякие разности, по своему выбору, но дело шло лучше, когда наша воспитательница Варвара Клавдиевна предлагала нарисовать что-нибудь необыкновенное: паровоз, самолёт, пароход...

А потом мы учили стихи и песни, повторяли их дома, и я уже выступал с публичными концертами на полукруглой деревянной эстраде во дворе бабушкиного дома, не говоря про собственный детсад.

Года в четыре ещё я выучил Агнию Барто:

*Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу —
Ох, доска кончается.
Сейчас я упаду.*

Я ещё спрашивал папу:

— А что это за слово Агния?

Он ответил:

— Имя.

— А Барто?

— Фамилия.

Я ещё узнал у папы свою фамилию. Он лохматил мне волосы, смеялся, искренне удивлялся:

— Неужели ты не знаешь собственной фамилии? Что ты будешь говорить, если потеряешься?

— Как потеряюсь? — удивлялся я, искренне ничего не понимая.

— А вот так! Окажешься вдруг в чужом городе! Вокруг незнакомые люди. Ты плачешь. И тебя милиционер спрашивает: “Как твоя фамилия,

мальчик?” И ты должен сказать, как тебя зовут и как твоя фамилия. И где ты живёшь. А то никогда не найдёшь нас с мамой.

Я ёжился, не понимая, спрашивал, почему я потеряюсь? Зачем? И почему я буду в чужом городе?

— Ну, вдрут война! — шутливо сказал однажды отец. — И вам придётся уехать.

— Почему — вам? — задумчиво спросила мама. — А где будешь ты?

Отец ответил, помолчав почему-то:

— Конечно, на войне.

Взрослые затихли.

Мамочка и папа не любили разговаривать про войну. Слушали чёрную тарелку, нависшую над комодом с не очень большим зеркалом на нём. Из тарелки неслись песни, передавали разные сообщения, и тогда взрослые притихали.

Но потом продолжали говорить и жить, будто то, что сказали по радио, нас не касалось.

3

Зато я! В “Октябрёнке”!

Незадолго до Октябрьского праздника одна тысяча девятьсот сорокового года — и дальше вы поймёте, почему я так точно помню такие далёкие цифры — со мной стали твориться чудеса. Причиной всему стала моя бабушка — портниха.

Детсад готовился к праздничному утреннику, и она, ни с кем этого не обсуждая, сшила мне маленькую, но настоящую командирскую гимнастёрку из тёмно-зелёной ткани, притачала к воротнику красные петлицы и пуговицы раздобыла, военные, с выпуклыми звёздочками — ничего себе!

Добавкой ко всему ремешок — узенький и не настоящий, не военный, без пряжки из золотого металла, но — всё-таки! Я же простой малыш в коротких штанишках, из-под них высовывались длинные чулки на резинках, совершенно девчачьих. И, на тебе, мальчик — гимнастёрка!

Но это ещё не всё!

Потому что бабушка достала из своей волшебной сумки — у меня аж душа взорвалась — маленькую буденовку с настоящей красной звездой на ней!

Бабушка оглядывала меня придирчиво, как, наверное, скульптор осматривает свою работу, примечала недочёты, кивала сама себе головой, будто спорила и соглашалась сама же с собой.

При этом не проронив ни слова!

Зато Варвара Клавдиевна! Она ни с кем не спорила, даже с собой! Даже про себя, мысленно! Она только восхищалась: восклицала, восторгалась, радостно смеялась!

Мне кажется, она даже слов-то никаких не произносила! Да и зачем какие-то слова, когда и так всё ясно!

Она просто исчезла на минутку, потом в коридоре раздался какой-то невнятный звук, дверь пустующего кабинета заведующей распахнулась, и мы с бабушкой увидели, что воспитательница прикатила деревянного коня на колёсиках. Из спортзала!

Конь заехал в кабинет, земля улетела у меня из-под ног, и я очутился прямо на коне. Настала тихая, какая-то необыкновенная пауза: вежливость, смешанная с благоговением, а я погляделся прямо с конём в большое зеркало отсутствующей заведующей, ведь оно было длиной до самого пола.

Мне понравилось то, что там отразилось.

В коридоре слышались шаги, чьи-то разговоры, может заведующая возвращалась с совещания, мало ли...

И Варвара Клавдиевна с бабушкой мгновенно переделали меня в штатское, вежливо вывели коня, уложили форму в сумку, враз утерявшую свою волшебность. И бабушка удалилась, заключив с Варварой Клавдиевной тайное соглашение:

— НИ-КО-МУ!

Весь оставшийся день воспитательница поглядывала на меня.

И всякий раз по-разному.

Задумчиво. Вопросительно...

Сомневаясь. Печалась...

Но всякий раз — улыбаясь в конце концов!

Потом снова позвала в кабинет заведующей. Спросила:

— Хочешь, мы с тобой к утреннику выучим ещё и стихотворение. И ты его прочитаешь всем. Называется “Письмо Климу Ворошилову”.

И прочитала его мне наизусть.

А я совсем не удивился, потому что не один раз слышал его. Только в виде песни. Её пел какой-то мальчишка в круглой тарелке радио.

Мимолётно я заметил, что Варвара Клавдиевна предлагает мне выучить стихотворение не очень уверенно. Решил, что боится, сумею ли я его запомнить.

Но маленьким людям бывает трудно сформулировать мысли, поэтому я просто хмыкнул. И она смущённо улыбнулась, догадалась, наверное, добрая душа, что сомневаться во мне не следует, хотя я и мал.

Варвара Клавдиевна была черноволоса, черноглаза и безгранично добра. У неё росли два сына — Герка и Валерка. Герка уже ходил в школу, а Валерка в нашу же группу детсада, да и жили они наискосок от нашего дома — почему я и знал кое-какие подробности жизни нашей воспитательницы. То она заскакивала к нам за лавровым листом для неожиданной ухи, то приносила почитать родителям новую книгу, то хвалила Герку за отличную учёбу, а то и ругала его же за учёбу плохую, — и всегда-всегда при этом улыбалась. Поэтому я её никогда не боялся. В общем, воспитательница была хорошо знакома, конечно, прежде всего, с бабушкой и мамой, и уж только потом с отцом, который как-то деликатно всегда обходил эту мою главную воспитательницу.

Уж много-много лет спустя я сообразил, что сперва Варвара Клавдиевна хотела просто восхититься бабушкиной идеей — явить меня на утреннике в костюме командира. А потом придумала не просто на коня с колёсиками посадить, но чтобы я ещё с коня этого и письмо Ворошилову прочитал.

Но не решалась на такой сюрприз без бабушкиного или родительского позволения. Но разве потребуешь от малыша, чтобы он, разучивая стихотворение, не повторял его в свободное от репетиций время? Напримр, дома.

Я и повторял, да пока обкатывал языком словечки и запоминал их, радио раза два спело песню на эти слова, и я мальчишке, который пел, подтягивал при родителях, во время обеда.

— Ишь ты, — ещё удивился папа, — как хорошо ты знаешь эти слова!

— Меня Варвара Клавдиевна учит, — тут же выдал я воспитательницу, а бабушка бросилась на выручку воспитательницы:

— Да разве плохо? Такое длинное стихотворение выучил почти назубок.

— Кто же спорит? — пожал плечами папа, и премьера моя состоялась с громом аплодисментов.

Хлопали, конечно, все воспитательницы, и поварахи, и уборщицы, и даже заведующая, которая с утра заняла свой кабинет, а на утреннике стояла впереди всех взрослых, которых было не меньше, чем детей, и хлопала, улыбаясь во весь рот и громче всех.

Взрослых было много, потому что пришли едва ли не все родители, а ещё бабушки и некоторые дедушки, и даже какие-то начальники над всеми детскими садами, и я со своим стихотворением оказался главным событием дня.

Конечно, я волновался, конечно, пару раз подумал, как бы не перепутать слова, но сев на коня, хоть и с колёсиками, да ещё с деревянным ружьём за спиной, я, чтоб сразу привлечь всеобщее внимание, стал громко выкрикивать выученные стихи. Вообще-то это выглядело не очень артистично, но сам смысл стихотворения не просто позволял, а требовал его громкого исполнения. Что я и сделал.

Ясно, что на меня обрушились аплодисменты. Не могли не обрушиться. Потом заведующая больно жала мне руку, и ещё какой-то толстенный дядька жал тоже больно, а потом бабушка осталась со всеми взрослыми гостями, хотя толпа поредела, — потому что утренник закончился. Назавтра был выходной, 7 ноября, и детей отпустили домой пораньше, и маленький народ, в сопровождении родителей, расходился по домам.

Отправились домой и мы, мамочка, папа и я.

Военный костюм с меня не сняли — бабушка не дала, пальтишко не застёгнуто, на голове будёновка. На меня все оборачивались. Кто-то улыбался, даже хвалил вслух родителей, но мои родители выглядели немножко растерянными. Мама почему-то торопливо отговорила:

— Спасибо! Спасибо!

И мы все втроем прибавляли шаг. Папа молчал. Дома они в четыре руки переодели меня, и только тут папочка подвёл итог.

— Ты молодец, — сказал он, — и стихотворение хорошее. Но только длинное.

Он помолчал и прибавил грустно:

— Да и брата у тебя нет. Есть я. И хотя товарища Ворошилова я очень уважаю... Климента Ефремовича... но лучше, если бы никакие буржуи на нас войной не пошли.

Мамочка сказала по-другому.

— Ты знаешь, сынок, что я работаю в поликлинике. В лаборатории. Чтобы помочь тем, кто болеет, мы исследуем человеческую кровь. Но вот подумай — в один день, в один час, в один месяц...

Она вздохнула и задумалась. Я даже решил, что мамочка перестала говорить, но она продолжила:

— Много-много людей — и детей! — вдруг заболеют. Их ранят снаряды и пули! Какой там товарищ Ворошилов!

— Не говори так, — чуть повысил голос отец. — Всё правильно прочитал наш сын. Ты молодец, мальчик!

5

Теперь уже могу утверждать точно: это было шестого ноября одна тысяча девятьсот сорокового года. А папа-то уехал в Москву на ВСХВ летом. В каком именно месяце — забыл. Но про лето помню совершенно точно.

Дело было так. Мы пошли провожать папу на вокзал, и он там знакомил маму с мужчинами и женщинами, которые ехали в Москву вместе с ним. Знакомил и меня. Сделал он это очень просто, поднял меня на руки и держал меня, пока все эти люди жали мне ладошку — аккуратно, вежливо, не сильно. Сразу было понятно, какие это деликатные люди.

Потом они взобрались в вагон проходящего поезда, а папа всё не уходил в его глубину, стоял за спиной строгого проводника в фуражке и вытягивал голову, улыбаясь и что-то желая одними губами.

Мама молча махала рукой, и я тоже махал, и вагон громко звякнул чем-то железным и медленно покатился. Поезд ушёл, мы печально вышли с перрона и двинулись в сторону дома. Наверное, мы с мамой оба думали о папе, оба думали, что это хорошо — ведь папу послали на ВСХВ как лучшего рабочего... Но вот почему-то грусть не уходила, а, наоборот, подкатывала откуда-то к горлу.

Каким был мой папа? Я подумал об этом тогда совсем по-детски, даже по-мальшовски. Конечно, он был любимым и всегда добрым. Со мной он разговаривал очень ласково, но он так разговаривал со всеми. Он и с мамой никогда не спорил, но всё делал по своему хотенью. Без всякого “щучьего веления”, как в сказке. Пилил и колол дрова для печки, рано утром, когда я только просыпался, его никогда не было, и мама сзывала объясняла мне: “Он на работе”. Ещё папа любил охоту, и иногда, в выходной, даже накануне выходного, исчезал с дядей Мишей, своим

приятелем, но к вечеру воскресенья возвращался, чаще всего, с селезнем, и мама готовила похлёбку.

Меня очень интересовало папино ружьё, называемое двустволкой, и он объяснял мне, что с этим ружьём охотился ещё его папа, значит, мой дедушка, который умер, когда я был совсем маленький. И вот дедушка-то был настоящий охотник, не то, что папа. Привозил по дюжине селезней весной, а то и пару гусей.

— Мы кормились его добычей, — непонятно выражался папа, потому что я не знал, как можно есть одних только гусей или одних только уток.

Но это мое мальшовое непонимание решительно отодвигали папины слова:

— Вот вырастешь, сынок, и мы с тобой пойдём на охоту вместе!

Я пищал от восторга. И это простое обещание делало моего папочку самым главным человеком на свете.

Я просил дать мне подвигать шомполом в ружейном стволе, когда он возвращался с охоты, посмотреть в ствол, какой он — чистый или не очень, — поперебирать латунные гильзы, поглядеть со всем возможным вниманием, как насыпается в неё порох, забивается пыж, затем насыпается утиная дробь и снова закручивается пыж, который надо сначала выколотить с помощью заточенного круглого приспособления и молотка из старого, ненужного валенка.

Когда ружьё приводилось в порядок после каждой охоты, папа давал мне поддержать его. Поначалу у меня не хватало силёнок, и он не выпускал этой тяжести из своих рук. Но потихоньку я подрастал, становился побольше и посильней. И пробил час, когда я смог удержать двустволку в руках сам, без папиной помощи. И это было весной того, сорокового, года. Отец оглядел меня, в коротких штанишках и с настоящим ружьём наперевес, кивнул вполне серьёзно и сказал:

— Уже совсем скоро мы пойдём с тобой на охоту.

— Когда! — крикнул я, захлебнувшись нечаянной радостью.

— Стрелять разрешается с шестнадцати лет... — ответил он, и я застыл, не очень-то ещё разбираясь во времени.

А он утешил:

— Время летит быстро!

А поглядев на меня повнимательнее, прибавил:

— Можно на охоту ходить, но не охотиться. Просто сходить!

Ну ведь ничего особенного не сказал. Проговорил обыкновенные слова, но, сам того не понимая, влюбил меня в себя ещё и ещё. Хотя разве можно полюбить за обещание чего-то далёкого?

Да и вообще влюбиться за что-то? Любят не за что. Любят просто потому, что любят! Любят за то, что ты дорогой, ты кровинка родная, и тебя жалко, хотя, вроде, и жалеть бывает не за что.

Став взрослым — и даже очень взрослым — я вычитал у одного поэта слова: “Мирами правит жалость, любовью внушена...” Так что любовь и жалость ходят рука об руку — как детсадовцы на прогулке, — делая людей человеками. И происходит это всю жизнь, до смерти, а не только с детьми.

Но у детей жалость всегда внушена любовью, а если жалости нет, то нет и любви... И я отчаянно, как бы растворяясь в нём, любил своего папу, почти ничего не зная про него. А что нужно знать о любимом человеке? Да ничего! Просто — люби его!

Я и мамочку любил, шагая рядом с ней. Рука моя была в её руке. Иногда эта рука подтягивала меня, чтобы я шёл побыстрее. И я освобождался от задумчивости. Мы обменивались простыми словами, и это тоже была любовь.

— Ты устал? — спрашивала мама.

Я уже как следует устал, ведь у нас до вокзала приходилось идти пешком почти целый час. Но отвечал:

— Разве можно сегодня устать?

— Какой ты молодец! — улыбалась мама откуда-то сверху. — Совсем мужчина!

— Если бы я был мужчиной! — восклицал я устало, и мама каким-то образом слышала эту мою усталость.

— Ну, не торопись, — сбавляла шаг. — Настанет твоё время!

6

Я ещё тогда, совсем небольшим, понял, что мой папа любит возвращаться неожиданно. Конечно, в те времена мы жили совсем по-другому, даже телефоны были только на почте, да в редких учреждениях, но не пойдёшь же туда просить позвонить. Да и кому звонить-то, если ни у кого этой связи нет? Телеграммы? Их посылали только по важным случаям. А письма, хотя ходили исправно, шли подолгу. Поэтому папа возвращался без всяких предупреждений, и всегда из-за этого получался праздник.

В тот раз из Москвы он вернулся очень рано, даже разбудил нас, но мы с мамой очень радовались, да и на работу — а мне в садик — идти не требовалось, приезд совпал с воскресеньем, и мы, громко разговаривая, не спеша умылись, позавтракали, и только тогда папочка торжественно сказал:

— А теперь завешиваем окна!

— Зачем? — восхитилась мама, и я вытаращился на папочку в ожидании, конечно же, чуда. И оно совершилось.

Окна долго завешивали одеялами, папе пришлось применить гвоздики и молоток, и тут он вытащил из старого рюкзака какую-то коробку. Она походила на швейную машинку, только гораздо меньше и сверху была полукруглой и с железной ручкой, почти как у машинки. Папа снял крышку, и перед нами предстал неведомый прибор: носик со стёклами, как у фотоаппарата, приделанный к металлическому коробу. Папа щёлкнул пальцем по нему, раздался краткий звук лёгкого металла, и наш волшебник произнёс весело:

— Знакомьтесь! Аллоскоп Аллоскопович!

— Кто-о? — дуэтом протянули мы с мамой.

— Аллоскоп, — серьёзно пояснил отец. — Домашнее кино. Но показывает он не кинофильмы, а диафильмы. — Он как-то подчеркнул, выделил голосом эти слова, и мы окончательно притихли, не зная разницы.

Он покопался в аппарате, накрутил туда что-то блестящее, как объяснил, из целлулоида, хлопнул, щёлкнул, мама выключила свет, — ведь не в темноте же мы сидели, завесив одеялами окна, — и на простыне, которую папа прицепил к стене, началось кино.

Нет, конечно, совсем не кино. Аппарат совершенно изумительно и ярко показывал цветные картинки, а под ними лежали подписи. И эти подписи принялась читать мамочка.

— “Синяя птица”, — проговорила она торжественно. — По пьесе Мориса Метерлинка. Студия “Союздиафильм”.

С каждым словом мамина речь звучала все мягче. Как будто она сама становилась добрее, хотя я никого не знал добрее мамочки. Будто взяла и враз превратилась в волшебницу, и слова она произносила какие-то удивительные. Ведь даже героев этой сказки звали именами, мной не известными и сказочными. Мальчика — Тильтиль, а девочку — Митиль. Будто не имена звучат, а часики тикают: тиль-тиль-ми-тиль.

Так вот: приходит к ним соседка, старая-старушка, и дарит им шапку с волшебным камнем. Тильтиль её надевает, поворачивает, и весь мир становится другим: старушка-соседка оказывается прекрасной молодой феей по имени Бериллона, Кот и Собака не просто разговаривают, а ещё и ведут себя, как люди, — спорят, пререкаются. Огонь, Вода, Хлеб и всё другое, что кажется людям бессловесным, вдруг говорят, страдают, радуются. И выходит, что всё в мире имеет свою душу, всё подряд переживает, всё страдает и всё ищет помощи — великой, ласковой, бесконечной. Кто принесёт эту справедливую помощь, ведь её желает получить всё, что есть и что составляет мир во всех его, кажется, безмолвных мелочах. И мудрая фея Бериллона объясняет: всем поможет только Синяя птица. Но её надо поймать, чтобы она всем помогла-то!

В самом начале Тильтиль и Митиль просто хотят есть, завидуя полному столу соседей, собравшихся на Рождественский праздник. А в самом конце они помогают всем бедным и всему, что считается не живым. Но что имеет Душу.

Папа менял картинку, поворачивая круглую ручку, и мама читала подписи под ними.

И тут я спросил их обоих — и папу и мамочку:

— А душа, это — что? Когда разговаривают вещи?

Мама и папа неожиданно смолкли. Они всегда довольно быстро отвечали на мои вопросы, но тут настала тишина. В этот самый момент на экране появилось и стало расплзаться коричневое пятно. Папа вскрикнул и выключил Аллоскопа Аллоскоповича, быстро открыл заднюю крышку, откуда тянуло жаром, и воскликнул:

— Перегрелся!

Уже потом, подрастая, научившись управлять Аллоскопом сам, я узнал одно главное правило: плёнка, на которой делались диафильмы, из целлулоида, а он, этот целлулоид, быстро вспыхивает от жары, которая направлена на него яркой-яркой, хоть и небольшой, ослепляющей лампочкой. А потому медлить нельзя, а надо быстро читать подпись и внимательно разглядывать картинку. Задумываться, о чём-нибудь болтать, отвлекаться или отходить от аппарата строго воспрещается!

Плёнку папа отремонтировал. Он достал её из аппарата, вырезал ножницами прогоревшую картинку. Потом помазал краешки особенным клеем и соединил их вместе.

Мама стянула одеяла, мы сели за стол, и папа стал подробно объяснять нам, как устроен прибор.

— А почему, — спросил я, — ты называешь его так важно: Аллоскоп Аллоскопович?

— Из уважения, — ответил мой любимый папа. — Вот он взял и поехал из Москвы, чтобы показать тебе диафильм. Почти кино.

— Спасибочки! — восхитился я.

Погладил Аллоскоп по спинке, а сам передвинулся к папе и обнял его за шею. Ещё я сказал ему:

— Это тебе, папуля, спасибо! За то, что привёз Аллоскопа Аллоскоповича!

— Ладно, — согласился папа, — ну так давай будем звать его по-родственному, просто — Аллоскоп!

И вдруг ответил на мой, я думал, забытый вопрос:

— А душа, — сказал, — это невидимая сила. Людям она даёт доброту, разум, чувство прекрасного.

— И ужасного, — сказала откуда-то из-за спины мамочка.

— Ну да, — ответил папа, — страх тоже откуда-то берётся, наверное, из души. Ты знаешь, есть народы, которые верят, что когда человек умирает, его душа переселяется в кого-то другого, в птичку-синичку, например, или в снегиря. А может, в доброго коня...

— Или усталую лошадку, — пошутила мамочка.

Папа усмехнулся.

— Никто её не видел, душу, но все верят, что она есть. Давай, мальчик, будем верить и мы.

7

А потом он произнёс совершенно неожиданное:

— Но ведь это ещё не всё.

Мама охнула:

— Господи!

— Давайте-ка, — встал папа со стула, — мне тазик, например! И налейте в него водицы.

Мамочка шагнула за перегородку, — а тазик с водой вынесла на улицу, — но я всё сидел возле папы, смотрел внимательно, как он вынимает

совсем небольшую коробочку, а из неё маленький катерок, совершенно синенький, с белой полоской от носа до хвоста и красной звёздочкой с боку. И вставляет в брюшко лодочки крохотную свечку, которая помещалась в такую же маленькую плошечку с тоненькой длинненькой железной ручкой.

Мы вышли во двор, папа зажёл спичкой свечечку в плошке, вставил её в животик катера, тот подумал немножко и вдруг! Поплыл!

Без шума, тихо, но быстро!

А тазик-то был круглый, и потому катер мчался вдоль круглого берега — быстро, без всяких рывков, но если бы этих железных берегов не было, он бы помчался прямо.

Я прыгал возле тазика, я скакал то на одной, то на другой ножке, я вешался на шею папе и целовал его в колючую щёку, потому что он приехал и сразу стал доставать подарки! Даже не побрился.

Ну, а кораблик плыл, плыл, не останавливаясь, и к нам подошла бабушка, качала головой, и слова говорила хорошие, благодарственные, а потом подошла почтальонша, которая принесла журнал “Мурзилка” для меня — надо же, как всё сошлось! — ну, а потом стали подбираться мои приятели, хотя у небольших людей такие же небольшие приятели, и они поодиночке не ходят, а только в сопровождении старших. И это приметив, папа неожиданно предложил маме и бабушке:

— А если мы подойдём к Варваре Клавдиевне? И попросим взять кораблик в сад? Пусть побольше ребят увидят этот кораблик!

Бабушка тут же уточнила:

— Да пусть она сама прямо сюда сейчас подойдёт! Я её позову! Вместе с ребятами!

И они появились все втроём — черноволосая Варвара Клавдиевна и Лерка с Геркой. Даже несмотря на то, что Герка уже учился, удивлялся он, как и младший брат, и как я, конечно же, и улыбался мне вовсе не небрежной улыбкой старшего мальшу, а даже как-то почтительно. Меня это смущало.

Ну да, кораблик привёз не кому-нибудь, а мне мой папа с ВСХВ, и, значит, кораблик мой, но я не чувствовал тогда, ещё не понимал, что значит — мой или не мой, и мне было бы понятнее просто смотреть, просто удивляться и просто радоваться невиданному кораблику, без всяких там мыслей — чей он и кому принадлежит.

Варвара Клавдиевна, сверкая черными глазами, подталкивала Герку и Лерку к тазуку, хотя они слегка упирались, и хвалила за что-то отца и мамочку, не обходя, конечно, бабушку, которая, будто молоденькая, сбегала за всей этой семьёй и теперь улыбалась, довольная.

Что ж, она оказалась права. Катер воспитательница моя не взяла, его принесла мама, когда утром повела меня в сад, и уж тогда Варвара Клавдиевна устроила настоящее представление в большой настоящей ванне, где могли купаться взрослые люди. Ребята из разных групп, сопровождаемые своими воспитательницами, ходили смотреть, как плавает удивительный бесшумный катер с красной звёздочкой на борту, прибывший к нам с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Варвара Клавдиевна всякий раз пробовала, поставив новую свечечку и запустив катер, удалиться по своим воспитательским делам, а я так и вообще жил своей жизнью — ходил, разговаривал, ел... Но постоянно возвращался в ванную комнату. Катер плыл и плыл, его окружали мои односадовцы из других групп, и они не знали, что я имею отношение к этому чуду, так что события подавали мне пример, как же по-разному можно удивляться.

Одни стояли молча, другие кричали. Третьи же брызгали на катер водой из ванны, по которой он плыл, но огонёк свечки помещался внутри, и те, кто брызгал, туда не попадали. А некоторые попадали. И катер останавливался. Один раз это произошло при мне. Я крикнул, просто издал возглас удивления. Может, я крикнул “Ай!”, как будто мне самому стало больно. Или, может, “Эй!”, стараясь одёрнуть нахального шалуна. Но меня перекрыл общий гам, прибежала воспитательница той группы, потом появилась Варвара Клавдиевна, всех быстро вывели. Всех, кроме меня.

— Вот видишь, — повторяла моя воспитательница. — Вот видишь! — и не договаривала, не объясняла, что я вижу, но достала кораблик, протёрла его и сверху, и изнутри, сменила свечечку, зажгла её, катер поплыл дальше.

И снова привели кучку ребят.

В тот день я ходил без спроса по всему садику, и никто меня не останавливал, ничего не спрашивал и ничего не требовал. Только все улыбались. По крайней мере, взрослые. И я потихоньку пробрался на узкую лесенку, ведущую на чердак. Дверь туда была похожа на люк, ведущий снизу, да ещё запирался тяжёлым железным засовом, так что мальши туда залезть не могли. Но посидеть на лесенке, ведущей вверх, могли даже очень.

И я поднялся туда, сел на ступеньку, стал смотреть в окно прямо напротив лесенки. Я думал про Тильтиля и Митиль, про Синюю птицу и про Души, которые есть у всего. И у кораблика же была Душа, значит. И у Огня, который что-то согревал в кораблике и только с помощью этой Души, Душа кораблика позволяла ему плыть. Мне очень нравилась невидимая тайна обо всём: у всего есть Душа. А уж про людей и говорить нечего.

Тот день тянулся отчего-то медленно, тягуче, будто мёд с ложечки, если достаёшь его из банки. И я подумал, что мальчишка плеснул водой и погасил кораблик просто от удивления его Души, ведь она у него ещё никогда не видела таких чудес. И я тем утешился, облегчённо спускаясь по таинственной лестнице и снова приближаясь к ванной комнате, где слышались громкие голоса.

Там были те, кто постарше. Этих ребят осенью провозжали в школу, и они считались взрослыми, по сравнению с нами.

— Ой, — воскликнула Варвара Клавдиевна, заметив меня, — вот и Коля! Это его кораблик, спасибо ему, он принёс его, чтобы вы все порадовались! Ведь правда! Как здорово!

Я стоял, наверное, покраснев. Зря Варвара Клавдиевна меня хвалит, я-то тут при чём, это же папа предложил, а сначала — привёз.

Их было человек семь, старшегруппников, большинство — мальчишки, и один из них в этом месте вдруг истошно как-то захохотал. Я знал, его звали почему-то Черемис, наверное фамилия Черемисов, — и вот он же тут гаркнул, прерываясь, будто бы заикаясь:

— Глядите! Как тонут! Ваши! Корабли!

И резко наклонился к воде, зачерпнул её двумя руками и бросил её на катер. А потом ещё и ещё, с какой-то яростью и злостью. Огонёк в катере погас, а пригоршни воды перевернули его вверх дном.

Я опять бессвязно вскрикнул, закричала и остальная ребятня, возмущённо, но бессловно закричала Варвара Клавдиевна, а Черемис гаркнул мне:

— А чего хвастаешь!

И уже обращаясь ко всем, крикнул:

— У него есть! А я — рыжий?

Я не понимал, что должен делать. Как отвечать — и отвечать ли? Что говорить — и говорить ли? И я беспомощно заплакал.

8

Домой в тот раз мы шли втроём. Я и бабушка, как положено, но с нами отправилась и Варвара Клавдиевна, ведь она с Геркой и Валеркой жила наискосок от нас.

Взрослые, честно говоря, когда идут рядом с маленькими, почему-то забывают, что эти маленькие такие же люди. Пусть и не всё понимающие, но всё слышащие и обо всём думающие — пусть и по-своему, по-малышовски. Ну и тогда я послушал взрослые рассуждения о неведомых мне предметах.

— Выходит, — начала бабушка, — ошиблись мы с вами?

— Ну почему же, — возразила Варвара Клавдиевна, — порадовали всех ребят. Кроме одного. Ну, мало ли что на кого накатит? А разве у нас, взрослых, не так?

— Так-то так, — глубокомысленно размышляла бабушка, — но вы же знаете поговорку: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Знающие люди утверждают: дети продолжение взрослых. И часто выговаривают то, что думают их родители. Даже их повторяют.

— Как глубоко копаете! — восхитилась воспитательница, — А надо? Ну, брякнул мальчишка, просто прорвало! Так может, правильное забыть?

Я и хотел забыть. Только не забывалось. Вечером бабушка предложила мне посидеть на улице, а сама увлекла маму и папу домой, чтобы рассказать о странной сцене. Я даже облегчённо вздохнул, что меня освободили от обсуждения, и снова сидел перед нашим круглым тазиком, где катерок упорно и надёжно плыл и плыл вдоль круглых берегов.

Я успокоился, отодвинулся от события в детском саду. И снова стал думать про Душу маленького огонька внутри кораблика, про Синюю птицу, которая приносит счастье не только людям, но и всему остальному, что есть в мире. Вот низко надо мной носятся стрижи, значит, всегда говорит папа, будет дождь. Но ведь стрижи откуда-то знают это лучше людей. И не только знают, но и предупреждают своими криками, беспокоятся за нас, а мы их не понимаем, потому что у нас нет шапки с волшебным камнем. Но, может, надо и без шапки что-то понимать и чувствовать?

А огонёк внутри кораблика? А вода, по которой он плывёт? А круглый эмалированный тазик, где купали меня, когда я был совсем маленький, и тазик с тех пор как бы мой добрый родственник, со мной он знаком, но кораблики, пусть маленькие и игрушечные, по нему ещё не плавали. Интересно, что бы он сказал сейчас, будь у меня волшебная шапка?

И я попробовал сказать что-нибудь от имени тазика. Сморщил лоб и взгляделся в него. Ну, наверное, он бы сказал:

— Что это вы там придумали? Во мне можно купать тебя! Если ты маленький! Стирать платки и носки — добро пожаловать! Замачивать рубашки твоего папы, наконец, когда он, усталый, приходит домой с завода. Но кораблики не плавают в тазиках! Им нужны лужи! Ручьи! Речки! Даже, может быть, океаны!

— Нет, — возразил бы я, — для океанов этот катерок слишком мал, да и свечка в его пузике мала для больших морей! Так что самое подходящее, это — ты. Видишь, что сегодня получилось! Даже ванна в детском саду и много детей, его разглядывающих, оказались ему велики!

И тут бы тазик вздохнул и проговорил бы:

— Нет, не размеры всему помеха! А предрассудки!

— Что это? — спросил бы я.

— Это когда люди одни и те же вещи понимают по-разному.

Такие слова и такие мысли пока не принадлежали мне, и я задумался, то ли размышляя о непонятном, то ли засышая.

А катерок упорно и молчаливо крутился по тазу.

Не скрипнув, у меня за спиной отворилась наша простецкая деревянная дверь, покрашенная в светло-коричневый цвет, — а ведь она всегда скрипела, — бабушка, мама и папа, не издав ни единого звука, будто тени, переместились на брёвнышко передо мной, и папа закурил свою “Звездочку”, совершенно неслышно чиркнув спичкой.

Он почему-то любил эту “Звездочку” — там были нарисованы два вооруженных бойца на мотоцикле — один за рулём, второй — в коляске, с пулемётом, а за спиной большая красная звезда, и папа всегда говорил, когда речь заходила о папиросах:

— Нам “Казбеков” не надо! Нам подавай “Звездочку”!

“Казбек”, кто не знает, дорогие папиросы в коробке.

Так что папа зажёл дешёвую “Звездочку”, раскурил её и покрутил ею: уже настали летние сумерки, а у него это здорово всегда получалось: крутить для меня круги, линии, квадраты, зигзаги и прочие фигуры папиросным огоньком в темноте. Молча, без разговоров.

И я, будто в сказке, забыв беспокойный день, смотрел на линии, которые рисовал папа, и маленькое сердце моё трепетало, как взрослое.

И тут случилось совсем неожиданное!

Папа вдруг ткнул папироску в землю, вскочил и воскликнул, что было совершенно не похоже на него:

— Боже! Я же забыл ещё один подарок! И, может быть, самый главный!

Он исчез в нашей двери, в комнате задержался на какие-то полминуты, потом над дверью вспыхнула наша уличная лампочка, развеяв мрак, и папа, вышедший на улицу, протянул мне мишку. Игрушечного медведя.

Конечно, я схватил его, конечно, поцеловал в нос, конечно, мама и бабушка издали возгласы удивления и радости, а я дал им полюбоваться медвежонком, и, ясное дело, медвежонок улёгся спать со мной на подушку, когда настал этот миг.

Он был — и есть! — не большой, но и не маленький, а сделан из какой-то редкой нынче материи — коричневой и в крупный рубчик. Глазки — маленькие пуговички, а на шее толстая красно-синяя ниточка, из шерсти.

Вот и всё. Но разве этого мало!

Я обнял папочку, а он поднял меня и прижал к себе. Так получилось, что одной рукой я обнимал моего папочку, а другой медвежонка из Москвы, которого он мне подарил летом одна тысяча девятьсот сорокового года.

Не напрасно мама сказала мне, откуда-то из полумрака:

— Это тебе ко дню рождения!

— Нет, — сказал папа, — это просто подарок.

Но я засыпал у папы на руках. Я улыбнулся ему, улыбался мамочке и бабушке, я улыбался Аллоскопу Аллоскоповичу и катерку, движущемуся — надо же! — не от трескучего моторчика, а от молчаливой свечи.

И у всего-всего-всего, что и кто меня окружает, была Душа, понимающая меня.

10

Вот, может, и вся история моих довоенных игрушек.

На новый, одна тысяча девятьсот сорок первый год мама купила несколько мандаринок в бумажных обёртках и подвесила их вместе с ёлочными игрушками на ёлку. А я их потом съел — и ведь нельзя считать, что я съел игрушки?

Аллоскоп мы сначала включали чуть не каждый вечер, ведь папа же привёз с ВСХВ целую коробочку диафильмов, и я узнал про “Огниво” и “Маленького Мука” не в книжках, а на простыне, которую вывешивала мамочка вместо экрана.

Но из всех сказок той поры “Синяя птица” оказалась важнее всех. И когда я чего-то не понимал в своей, лишь начинающейся, жизни, я думал про Душу, которая есть у всего, что нас окружает. Это меня каким-то образом ПРИМИРЯЮ со всем, что вокруг.

Наверное, поэтому я не любил ничего ломать, хотя бы ветки деревьев или кустов — ведь им больно! Никогда и подумать не мог, что можно швырнуть камнем — или хотя бы камушком! — в кошку или бродячую собаку, полезть в драку с тем, с кем в чём-то не согласен, или ответить бранью на ругань из уст такого же, как ты, мальша.

Я очень верил, что МИР лучше ВРАЖДЫ.

А потому, наверное, казался кому-то слабым. Но не я же один такой был, — только все по разным причинам, — и Варвара Клавдиевна старалась сделать нас сильнее.

Мы занимались гимнастикой в зале, долго гуляли перед обедом и дневным сном, вырабатывая выносливость, но любимым её делом было пение — ни одного дня мы не прожили в детсаду без песен.

Всё, что было на слуху, например, пелось по радио, через день или два уже распевала наша группа под аккомпанемент тётеньки у пианино.

И правда, это помогало. Разве можно скучать и слабеть, если поёшь, например, такие слова:

*На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят.*

По крайней мере, я оживал: ведь часовые родины стояли на тех суровых берегах в будёновках, как у меня, и я-то уж знал, что это такое.

Детская память чиста. Она свободна от лишних знаний. И, наверное, поэтому мы запоминали длинные стихотворения, которые сопровождала музыка, не всегда, конечно, понимая их глубокое назначение. Но если ты часто их повторяешь, а ещё лучше — поёшь, музыка слова эти укрепляет, а всякого, кто поёт, делает увереннее. И вот мы пели:

*— Если завтра война, — всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьём мы жестоко.*

*На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!*

Иногда, когда хорошее настроение, например, после ужина с папой и мамочкой, я запевал что-то из песен, выученных в детском саду. И — удивительное дело! — папа всегда пел вместе со мной, оказывается, он тоже знал все эти слова и про часовых родины, и если завтра война.

Но вот мамочка нас не поддерживала. Она или выбегала на кухню, или опускала голову и закрывала глаза. А сквозь закрытые веки глаз, набок, или, наоборот, к носу, выкатывались слезинки. Я не понимал её, чего она плачет? Ведь песни такие бодрые, а слова — правильные, и они дают силу даже мне, не говоря, наверное, про папу, а ей отчего-то больно. Это же всем известно, что люди плачут, когда они, например, стукнутся, и им больно.

11

За Новым годом с мандаринками в бумажках на нашей небольшой домашней ёлочке постепенно пришла весна. Папа ходил на охоту с дядей Мишей и опять принёс селезня, а я горевал обиженно, когда он не согласился взять меня с собой. Ведь обещал!

— Конечно, обещал! — отвечал мне бодро папа. — И сдержу своё обещание. Но пока тебе рано! Пойми! Тебе только шестой год! А надо очень далеко идти пешком.

И мы с мамой и бабушкой проводили его до угла и смотрели, как он со своим другом уходит в сторону солнца, на закат, и исчезает в его бронзовых, слепящих лучах, потому что солнце закатывалось за горизонт.

Через день, когда он вернулся, и мы опять всей семьёй ели вкусную полёбку, я зачем-то спросил:

— А почему ты всегда приносишь селезня? А не утку, — уже разбирался, что селезни это мужчины, а утки — женщины.

— Уток весной бить запрещается, — ответил папа. — Ведь утки скоро снесут яички, как курицы, — объяснял он неторопливо, — И из них вылупятся детки — и селезнята, и уточки. И род утиный продолжится, и мальчиков, и девочек, утиных, прибавится. А папу их, селезня, можно отправить в кастрюлю.

Мама дёрнулась, сказала папе:

— Перестань!

Но отец улыбнулся ей и спросил каким-то взрослым тоном:

— Но ведь и у людей так же!

Но всё-таки смягчился:

— Главное, деток сберечь! И утиных тоже! И всяких других!

Больше спорить не стали.

И ещё одна удивительная подробность засела мне в память о том коротком времени, — когда я научился помнить, что со мной происходило и до страшной беды, до войны.

Первого мая сорок первого года, когда мы шли на демонстрацию, с каждым шагом к своему заводу папа становился веселее, энергичнее, даже, кажется, руки его — одной рукой он сжимал мою ладошку — становились крепче и твёрже.

И вот когда мы подошли к площади, на которой музыканты играли марш, а над толпой колыхались большие красные флаги с серпом и молотом, какой-то худой и черноволосый мужчина закричал:

— Вот он! Наконец-то! А то мы его жаждались!

Папа смеялся громко, громко же отвечал:

— Видите, я не один!

И тут же нас окружила целая человеческая гурьба. Мне жали руку взрослые дяденьки и тётеньки, хвалили разными словами, а тот дядька крикнул папе:

— Но ты же должен нести знамя! Тебя выбрали!

И папа вдруг легко ответил:

— Вот моё знамя!

Он ловко снял с меня лёгкое пальтишко, надел мне на голову будёновку и вскинул махом себе на плечи.

Я-то привык к этому, а тут взрослые люди, может, первый раз увидели маленького человека в гимнастёрке, с петлицами, в будёновке со звездой и с блестящим ремешком! Наверное, они и так сильно удивились. Но я ещё и вытянулся у папы на плечах, как полагается командирам в кавалерийском седле, и поднёс руку к виску.

Вот дела! Оркестр, который только что громко играл, даже смолк, и я сверху увидел, что музыканты смотрят на меня с удивлением. Странно смотрят, будто поражены чем-то, но это длилось недолго, какое-нибудь мгновение, а потом барабанщик с огромным барабаном бахнул в него, и оркестр заиграл знакомую мне мелодию. И я запел своим слабеньким, конечно же, в этом грохоте голосом.

Но это оказалось совсем не важно, потому что пела вся площадь, все дяденьки и тётеньки, стоящие подо мной — ведь я-то был всё-таки над ними, — и сильным, крепким, может быть, даже решительным хором, и одним громадным голосом, одной Душой, — да, одной общей Душой, — мы пели:

*Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!*

И тот худой и длиннолицый подошёл к нам, пожал папе руку и вдруг сказал, показывая на меня:

— Ты прав, друг! Это и есть наше лучшее знамя!

12

А дальше я окунулся в шипучий и колючий океан! Будто я купаюсь в сладостной газировке, она обволакивает меня, в ней можно купаться и можно её пить. Да ещё и мурашки по мне ползают! Я даже смело подумал, что это моя маленькая Душа ликует от небывалого: этого неба чистого, громкого голоса тысяч взрослых людей, шёлкового трепета красных знамён,

а ещё моей высоты, откуда я вижу невиданные раньше просторы улиц, домиков и домов, людей, стоящих на обочинах дороги, которые кричат и машут шапками.

И ведь всё это мне!

Вернее, нам. Всем нам! Перед нами в один миг выстроился целый ряд молодых парней с красными флагами! Они трепыхались, метались, эти флаги, громко хлопали от ветра. А потом разом двинулись вперёд. И папа, со мной на плечах, оказался сразу за ними. Он попробовал, было, свернуть в сторону, к краю дороги, но ему замахали руками, закричали, велели идти спокойно своим путём. И мы с папой пошли за флагами.

Я обернулся. За нами двигались люди, много — много взрослых. Они смеялись, перекивались, пели — всякому ясно, что у них радостное настроение. Но мы с папой оказались как-то оторванными от всех.

Впереди будто занавес из трепещущих флагов. Позади огромный оркестр, который гремит настоящим громом. А дальше — колонна весёлых людей. Мы — в промежутке.

Нет, не успел я огорчиться или просто испугаться такого нашего нечаянного расположения, нет. В какой-то миг флаги перед нами расступились, и кто-то крикнул папе:

— Вперёд!

И папа почти бегом вынес меня вперёд, обогнал знаменосцев и пошёл перед ними. Мой любимый папа со мной на плечах шагал впереди всех. И я снова вытянулся и поднёс руку к будёновке.

13

А ещё через один месяц и двадцать два дня, в воскресенье, к нам пришли гости — дядя Миша, с которым папа ходил охотиться на селезней, и его жена тётя Лена — приятели моих родителей.

Рядом с домом доцветала вишня — белоснежные цветы её уже начинали осыпаться, но всё равно она сияла какой-то светлой радостью.

Взрослые принесли стёганые одеяла, чтобы нас не просквозила земляная сырость, посидели, поговорили о каких-то своих взрослых делах, которые я не умел слушать, а потом папа с дядей Мишей решили сходить с бурачком за пивом: совсем близко, на углу, в подвале, была пивная.

Они вернулись быстро, и я, взглянув на папу, понял, что пришла беда. Губы у него сжались и побледнели. И хотя он смотрел на меня, я сообразил, что он меня не видит. Он сказал:

— Война!

И больше ничего. И ушёл домой, переодеться. За ним побежала мама. Когда папа вышел переодетый, как на работу, гости уже ушли, не попрощавшись.

Вечером папа сказал, вернувшись:

— Мне дают бронь. Но я записался добровольцем.

Бабушка тогда заплакала, а мама опустила голову.

Так началась война.

Она по-разному началась для всех. Но во мне этот сад и цветущая вишня остались навсегда. Навсегда, пока есть я. Они и исчезнут только вместе со мной.

И так происходит со всеми. Всегда.

14

И с этой вишней, со стёгаными одеялами на поляне остались незабытыми довоенные игрушки.

Конечно, Аллоскопа Аллоскоповича не назовёшь игрушкой, это целый аппарат. Но цветные сказки на простыне, развешенной по стенке, я помню,

будто видел их вчера. А Тильтиль и Митиль смотрят и смотрят на меня, как будто спрашивают:

— А ты, мальчик, помнишь, что у всего есть Душа?

Мне стыдно говорить, что я уже давно не мальчик, но так отвечать неправильно, если речь идёт о Душе. Душа же всегда одинакова, или, вернее, равна. Душа даётся при рождении и отнимается в конце жизни — это у людей. А у вещей конца жизни нет, если их не ломают. Или они не ломаются сами, не превращаются в рухлядь или в пыль.

Я много-много лет, по крайней мере, всю войну, смотрел с мамочкой Аллоскоп. Потом его вытеснили кинотеатры и кинофильмы, и он спрятался в чулане, среди ненужных вещей — прости, товарищ. Исчез из моей жизни и кораблик, который прибыл ко мне из страны ВСХВ, которую люди отвергли, а теперь и забыли. Но вот Медвежонок с сине-красной ниточкой на шее по-прежнему со мной. Он сидит в моём книжном шкафу, за уголком, и поэтому как бы пребывает в полумраке.

Но я знаю, что он там, и когда мне очень хорошо или когда очень плохо, я достаю его и смотрю, изменился ли Медвежонок, как изменился сам я.

Сначала он смотрит на меня пустым стеклянным взглядом, и я знаю, что он обижен на меня. Обижен справедливо.

Уж очень долго я не встречался с ним, не говорил с ним, не рассказывал ему про свои радости и печали.

Я знаю, что его Душа всё знает обо мне, и с обидой понимает мою неправильную привычку — когда мне плохо, приходиться к нему, а когда хорошо, то и вовсе про него не вспоминать.

И я перед ним извиняюсь, как могу и умею. Я повторяю, вздрагивая всякий раз от страшной глубины этих слов, сказанных людям:

“СЕРДЦЕ МУДРЫХ — В ДОМЕ ПЕЧАЛИ,
СЕРДЦЕ ГЛУПЫХ — В ДОМЕ ВЕСЕЛЬЯ”.

Медвежонок смотрит стеклянным взглядом, но я знаю, что мне надо донуть на его глазки и потереть их, — обязательно своим рукавом, — и ещё раз, и ещё.

И тогда эти глазки посмотрят на меня совсем по-другому. Они вспомнят меня. Узнают. Медвежонок не умеет говорить, но я знаю, что бы спросил он, если мог. Он спросил бы меня:

— Не забыл?

— Не забыл! Прости, прости, прости меня! Но я не забыл свои игрушки. А значит, жизнь. И не только свою.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

А где же Черемис?

Он учился в другой школе, на два года старше меня. Когда я был в первом, он зацепил меня. Появился в конце войны — начале мира такой у детей полухулиганский приём, обозначающий не то нелюбовь, не то превосходство, но уж никак не безразличие. Ты, допустим, идёшь по тротуару, а тебе навстречу некий тип такого же возраста, впрочем, порой и слабее. Он смотрит куда-то в сторону, потом выравнивает курс и цепляет тебя своим плечом. И раз уж этот удар запланирован, он всегда сильнее и поворачивает тебя против хода.

Такой вот способ не то, чтобы поздороваться, а дать тебе знать. С ног не сбить, но показать, что ты на них не крепко стоишь. В общем, выразить отношение — не ударом, а обманом.

Так вот я шёл себе и шёл по улице, о чём-то своём соображая, и вдруг меня развернуло вокруг самого себя, я едва удержался, И понял вослед агрессору, что это Черемис. Он ещё влоборота повернулся, чтоб я не сомневался.

А уже совсем после войны, в пятом классе, я занялся русским хоккеем, записавшись в детскую спортивную школу. Через полгода тренировок мы начали играть с разными командами, и настал час сразиться с “коровцами”, что означает — Клуб Октябрьской революции, где тренировались дети железнодорожников.

Я уже играл не первый матч, имел скромный, но опыт, мне нравилось “шарить” в коньках да ещё и воевать за мяч, но до ударов по воротам дело не доходило, потому что, повторюсь, я играл в защите.

В тот раз играли вечером, при свете железных ламп-абажуров, лиц не только противников, но и соратников было не разобрать — только по цвету спортивных фуфаяк приходилось отличать одних от других.

Мы играли в красном, “коровцы” в белом, хотя, наверное, следовало бы сделать наоборот, но, независимо от цвета, мы были определённо слабее, и счёт складывался не в нашу пользу. Капитан и тренер взяли тайм-аут, собрали нас и сказали то, что мы и сами знали, без них. А “коровцы” переставили игроков.

И тут я увидел, что против меня играет здоровый парень, явно старше. Да ещё и опытнее. Он обходил и обходил меня, этот нападающий, лицо которого было в тени, и бил, бил по воротам. Но не попадал. Это, видно, кто-то охранял меня. Может, Душа мячика, которая не хотела жестокой несправедливости для ребят в красной форме.

И вдруг меня осенило! Есть проверенный способ остановить нападающего, который выше, тяжелее, опытнее тебя, быстрее катит, азартно бьёт. И когда он снова пошёл на наши ворота, я полетел ему наперехват. Я поехал ему наперерез и при этом присел, и он, понятно, налетел на меня и грохнулся.

В полумраке сверкнули глаза, и я ахнул:

— Черемис!

Но он ничего не произнёс. Такая атака защитника позволялась правилами, но больно приходилось обоим. И нападавшему, ведь он не только терял мяч, но и с силой грохался об лёд. И уж, ясное дело, защитнику — он подставлялся под несущийся поезд.

То есть мне!

Черемис отъехал, атака началась снова, мы проиграли, но когда я выходил из раздевалки, мой противник с детсадовских лет вдруг выдвинулся из круга своей команды, шагнул ко мне и произнёс без всякого издевательства:

— Ну, ты даёшь!

Мячик с той игры тоже хранился в моём родительском доме. И тоже исчез. Но я его помню.

2020 г.